



Геннадий Красухин

**Путеводитель по судьбе:
От Малого до Большого
Гнездниковского переулка**

«Языки Славянской Культуры»

2009

Красухин Г. Г.

Путеводитель по судьбе: От Малого до Большого Гнезниковского переулка / Г. Г. Красухин — «Языки Славянской Культуры», 2009

Новая книга воспоминаний Геннадия Красухина сочетает в себе рассказ о литературных нравах недавнего прошлого с увлекательным повествованием о тех кусочках старой Москвы, с которыми автора надолго связала судьба. Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

© Красухин Г. Г., 2009

© Языки Славянской Культуры, 2009

Содержание

К читателю	5
Малый Гнезниковский, дом 7	7
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Геннадий Григорьевич Красухин

Путеводитель по судьбе: От Малого до Большого Гнездниковского переулка

*От себя не уйдёшь, не старайся – не сможешь,
И себя не обманешь и не проведёшь!
Не старайся – не сможешь,
Только труд зря положишь!
От себя не уйдёшь...*

Из моего юношеского (1956-й год) стихотворения

К читателю

Малый Гнездниковский переулок, дом 7 – это адрес Государственного Комитета Совета Министров СССР по кинематографии (Госкино, как его сокращённо называли) – первого моего места службы после того, как поступил я в МГУ на филологический. Работал я там полтора года и, разумеется, много раз оказывался у стоящего неподалёку дома 10 по Большому Гнездниковскому, первого московского «небоскрёба», построенного в 1912-м году, который сразу же стали называть домом Нирнзее по искажённой фамилии его архитектора Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее.

Нирнзее построил в Москве немало примечательных зданий – семиэтажных, восьмиэтажных. Но в этом лифты довозили до 9 этажа, на котором, как и на всех других, располагалось множество разной величины квартир для одиночек (как правило, для холостяков). От других 9-й этаж отличался тем, что с него наверх вела небольшая лестница, но уже не в жилые квартиры, а в двухуровневое служебное помещение. Этот небольшой 10-й этаж торчал над огромной плоской крышей, которую архитектор планировал приспособить под смотровую площадку (круговую панораму) и под кафе или ресторан для жильцов дома, квартиры которых не имели кухонь. Первая мировая война, однако, не только смяла эти планы, но заставила Нирнзее, немца по национальности, продать дом и уехать из России. В 1916-м году кафе под названием «Крыша» всё-таки открыли. Но быстро закрыли, объяснив это требованиями пожарной безопасности.

После революции в Четвёртом доме Моссовета, как его стали именовать, в годы НЭПа на месте «Крыши» возникло дешёвое и вкусное кафе-столовая Моссельпрома. В закрытом зале играл оркестр, в другом зале крутили ленты немого кино, но и на плоской террасе крыши можно было посмотреть фильму. А кроме того со смотровых площадок посетители любовались Москвой, дети резвились на отведённом для них пространстве, молодёжь играла в футбол и волейбол, люди старшего поколения дышали воздухом на скверике с фонтаном. И здесь летом ставили столики кафе-столовой. Так что в появившейся позже гостинице «Москва» её кафе «Огни Москвы» на последнем этаже со столиками на балконе было спроектировано как бы в подражание плоской «Крыше» в доме Нирнзее.

В «Огни Москвы» я ходил ещё студентом, благо учился рядом, на Моховой. А в кафе дома Нирнзее, разумеется, не был: покончив с НЭПом, большевики прикрыли и кафе. В то время, о котором пишу, на месте кафе и кинозалов располагалось издательство «Советский писатель». Поначалу я об этом не подозревал, как, впрочем, и о бывшем кафе на крыше. Но после того как ушёл из Госкино, встал вопрос о моём трудоустройстве, точнее – о праве не работать, живя на гонорары, которые платили мне за критические статьи. Кто-то сказал, что помимо членов Союза писателей, в котором я тогда не состоял, таким правом обладают и члены

группкома литераторов при крупнейших московских издательствах. Друзья дали рекомендации в группком при «Советском писателе», куда меня и приняли. Но в само издательство я поначалу не ходил, никого там не знал. Познакомился с его редакторами позже, когда выпускал в нём книгу. Однако к тому времени оно поменяло адрес – расположилось на улице Воровского, нынче называемой по-старому – Поварская. А на место издательства в дом Нирензее въехал журнал «Вопросы литературы».

С этим журналом я сотрудничаю больше сорока лет. Я печатался в нём и когда он находился на Спартаковской, и когда переехал на Пушечную, а после – в дом Нирензее.

Но главное – с 2007-го года я перешёл из неработающего его члена редколлегии в работающего. И если учесть возраст, с каким меня взяли в штат, то легко предположить, что этот журнал будет последним в моём послужном списке.

Итак, в 1963-м я поступил на службу в Малом Гнездниковском, а заканчиваю её в Большом. Бывают, как писал Пушкин, странные сближения!

А коли бывают, так давайте пройдемся по этому небольшому отрезку от Малого Гнездниковского, 7 до Большого Гнездниковского, 10. Конечно, пути здесь самым медленным шагом минут на семь-десять. Но я предлагаю пройти его чуть ли не за полвека, как шёл я сам, незаметно старея, превращаясь из наивного юноши в усталого, вкусившего всякого в жизни человека. «Разве мама любила такого?..» Такого меня мама уже не застала. Вот уже почти двадцать лет, как её нет на свете.

Малый Гнездниковский, дом 7

А видела ли мама этот дом? Не уверен. Не убеждён даже, что она хоть раз была на улице Горького, так при ней называлась Тверская.

Она не выходила за границы раз и навсегда отведённой ею самой для себя территории: Шаболовка – Хавско-Шаболовский переулок (здесь мы жили) – Даниловский универмаг, постоянный и вождённый предмет маминого обследования: покупала она там что-либо редко, но ходила в него чуть ли не ежедневно, – Серпуховской вал, ведущий к Даниловскому рынку, а через сквер по 4-му Рощинскому проезду к детскому саду, где мама работала воспитательницей. Детский сад был от парфюмерной фабрики «Новая Заря». По имени фабрики называлась и улица – Новой Зари, на которой расположился детсад.

Ну, и введем в эту мамину территорию, пожалуй, Киевский вокзал, на который мама приезжала иногда в Москву из Катуара (теперь Лесной городок), где летом находилась вместе со своим детским садом.

И это притом, что была мама человеком ужасно любопытным, что её невероятно интересовала чужая жизнь. Причём не только соседей или её товарок – воспитательниц детского сада, но совершенно незнакомых людей, о которых ей всего только рассказывали. Увлечённо сообщала нам, каких высот добился некто, кого она никогда не видела и не увидит, или наоборот, с каких вершин его сверзили: удачно/неудачно женился, получил хорошую/плохую комнату, повышен/понижен по службе. От этой страсти – жить не своей, а чужой жизнью – она не избавилась и когда я стал взрослым. Её звонки ко мне были насыщены такими известиями, от которых впору было только пожимать плечами: ну, какое мне до этого дело? А ей – какое? Чужую квартиру она осмотрела бы с любопытством, прониклась бы новым для неё бытом, что-то там дорисовала бы в своём воображении. А вот городские улицы, старые и новые, её совершенно не интересовали – ни их история, ни облик их домов. Чего ради она стала бы по ним прогуливаться? Городской ландшафт или памятники архитектуры её не занимали.

Я и сам, пожалуй, совсем не интересовался архитектурой. Хотя гулять любил. Меня тянуло бродить по улицам, по центру, по незнакомым кварталам. И я любил бродить и думать о своём. Но теперь, оглядываясь назад, вспоминаю, что ощущал какой-то особый настрой, приближаясь к мощным классицистическим корпусам Первой Градской больницы на Большой Калужской (нынче – Ленинский проспект), или когда разглядывал своеобразные купеческие особняки на Большой Полянке, дворянские – на Пречистинке (в советское время – Кропоткинская). Конечно, тогда я не задумывался об их бывших владельцах и архитекторах, но разницу в облике улиц улавливал. Ну и, конечно, отдыхал душой от барачных подступов к Шаболовке, от унылых деревянных домов, окружённых огородами, сбегаящими почти к трамвайной линии, от сталинских безликих пятиэтажных корпусов, в одном из которых мы жили. Но не задумывался о том, когда построен тот или иной особнячок, в каком стиле. Значительно позже меня захватила поэзия архитектуры, когда дома вдруг ожили, волнуя тайной своей жизни, красотой пластики, патиной времени. Кто-то хорошо назвал архитектуру застывшей музыкой. Её мелодию я услышал во взрослом возрасте.

Нет, иногда мама всё-таки за пределы своего пространства выходила, но, пожалуй, не по своей охоте. На трамвае, который ходил по Шаболовке, мы доезжали до метро «Парк культуры». Оттуда – пешком на Метростроевскую, ныне вернувшую себе прежнее название Остоженки, и через всю Метростроевскую во 2-й Обыденский переулок, если шли в гости к старшему папиному брату дяде Мише, или переходили на другую сторону Метростроевской и в середине неё сворачивали в Хилков переулок, где жила мамина тётка, тётя Лиза. Назад – мы иногда возвращались и на метро. Выходили на «Калужской» (теперь «Октябрьская»). Но в этом случае три трамвайных остановки до нашего дома шли по Шаболовке пешком.

Мы с братом очень любили эти походы, а мать нет, не любила. Ей не по душе было наше воодушевление, которое мы испытывали, отправляясь в гости. Каждый раз она проводила с нами инструктаж: мы – не из голодного края, от добавки отказываться, конфеты (фрукты, пирожные) со стола не хватать. Алька, мой младший брат, с готовностью кивал и даже глаза закатывал: о чём, дескать, речь, всё будет чин чинарём! Но, оказываясь за столом, от души наливал в свой бокал лимонаду, запивая немалое количество взятых с разных блюд закусок, добавлял себе винегрета или салата, а уж маленькие пирожки с мясом, которые прекрасно пекла и подавала к бульону дядимишина домработница Полина, поглощал с конвейерной скоростью, как и щедро подсыпал в свою тарелку с куриным супом гренки, которыми была заполнена высокая, широкая и глубокая фарфоровая чаша у тети Лизы. И при этом исхитрялся ни разу не поймать глазами негодующий взгляд матери, хотя дома обещал смотреть только на неё. А после, уже по дороге из гостей, сыто и вяло отругивался: ничего, мол, такого он в глазах матери не заметил, и как бы он ел, если бы всё время смотрел на неё?

Видела ли мама Красную площадь, Кремль? Не знаю. Не помню причины, по какой она могла бы там оказаться. Может быть, только в ранней молодости – до моего рождения? Однажды родители устроили мне праздник. По случаю моего поступления в школу повезли в кинотеатр «Ударник». Он располагался в Доме правительства или, как называл это здание Юрий Трифонов, в «доме на набережной» и находился совсем недалеко от Кремля – через Большой Каменный мост. Но мост мы не переходили. Приехали, кажется, тоже на трамвае, а, может, и на троллейбусе – не помню. А фильм, который мы втроем смотрели, запомнился на всю жизнь ещё и потому, что я вообще впервые был в кинотеатре, где мне страшно понравились выступление эстрадных артистов перед началом сеанса и сам фильм «Первая перчатка». Больше в кино я с мамой не ходил, а с папой был в кинотеатре ещё пару раз. Когда маму положили в роддом и у меня родился братик. По этому случаю отец, купив мне мороженое, повёл в «Авангард», бывший когда-то церковью. На его месте ныне стоит часовня на Калужской площади (в советское время площадь с 50-х годов называлась Октябрьской). Там перед началом фильма тоже выступали артисты, но не певцы, а уморительно потешные клоуны. Сам фильм мне понравился ещё больше первого. Мы с отцом смотрели «Красный галстук», который я в тот же день подробно пересказал тёте Лизе, и она ахала, восхищаясь моей памятью: «Прямо наизусть шпарит! Теперь и смотреть не пойду: имею полное представление!» К тёте Лизе мы заехали после кино, чтобы взять передачу от неё для лежащей в больнице мамы. Отец в тот день был необыкновенно щедр. Отдав тетилизину и свою передачу и получив от мамы записку, он пошёл со мной в «Шпульку», благо этот клуб шпульно-мотальной фабрики был на той же Шаболовке, недалеко от роддома. Там мы посмотрели ещё один фильм «Сказание о земле Сибирской», который мне тоже понравился, но не так горячо, как «Красный галстук».

С отцом, кстати, мы были на Красной площади, в Мавзолее. Причём благодаря мамину отцу, дедушке Якову. Тот приехал к нам в гости из Пензы и пожелал увидеть Сталина, которого незадолго до этого положили к Ленину в мавзолей. Я потом Ленина видел без Сталина. Это когда мы, несколько приятелей, охваченные эйфорией от решения партийного съезда, отстояли огромную очередь, чтобы убедиться, что чучело Сталина действительно выброшено из Мавзолея, но и разочароваться: его, оказывается, не убрали с глаз долой, а удостоили высшего почёта, поместив на кремлёвском кладбище рядом с верховными соратниками.

А когда дед захотел посмотреть на Сталина, мама с ним не пошла. А мы с отцом – с готовностью. Я из любопытства, а отец любил Сталина. В отличие от дедушки Якова, который, вернувшись, удовлетворённо сказал матери: «С Лениным лежи или с фараоном, а всё равно ты дохлятина!» Знаменитое «дело врачей» грозно прокатилось по стране. И чем дальше от Москвы, тем страшнее. В Пензе, рассказывал дед, ждали погромов со дня на день. А «жид», «пархатый» бросали человеку в лицо, всматриваясь в него и выгоняя из очереди, которую в Пензе приходилось выстаивать за любыми продуктами, даже за хлебом.

Кремль при Сталине был закрыт для посетителей, но я, как уже рассказывал в книге «Комментарий», побывал там именно в сталинское время. Мне билет на ёлку достала соседка, уборщица кремлёвского буфета. А отец в Кремле оказался сразу после войны, когда его наградили орденом «Знак Почёта». Он получил орден из рук Калинина и вспоминал об этом с благоговением. До конца жизни он хранил не только орденскую книжку, но и красивый блокнотик с расчерченными на страницах талонами: «январь», «февраль», «март» и так до конца одного года, а потом снова помесечно на следующий. Внизу каждого талона обозначена была линия отреза. В обмен на отрезанный талон отец получал 10 рублей – сумму, специально установленную государством для кавалеров этого ордена. За ордена вообще платили немного: за высший – орден Ленина – 25 рублей, за звезду героя Советского Союза – 50. Но вернувшиеся с войны инвалиды или студенты-фронтовики дорожили и такими суммами. Особенно те, у кого было по два или по три ордена. Папа не столько радовался деньгам, сколько льготам, которые давала орденская книжка: скидка на оплату жилплощади, уменьшенный подоходный налог, право на бесплатный проезд в городском трамвае и раз в год на проезд туда и обратно по железной дороге и по воде. Отец пару раз попользовался такой льготой, когда ездил лечить язву желудка в Кисловодск. Но больше так блаженствовать он уже не мог: с 1 января 1948-го года льготы орденосцам Сталин отменил. «По многочисленным их просьбам», как гласил об этом Указ Президиума Верховного Совета.

Приходилось читать, что Сталин сделал это потому, что война существенно увеличила количество орденосцев: дескать, сохранять их льготы было бы накладно для бюджета. Накладно, конечно. Да и не для того Сталин взваливал после войны на шею собственных граждан утяжелённое ярмо сохранённого им бюджета военного времени, чтобы кто-то мог не почувствовать на своей шее тяжести. Скажем, налог на холостяков – 6 %, на семьи, имеющие одного ребёнка, – 1 %, имеющие двух, – полпроцента. Это в дополнение к основному подоходному налогу и к обязательной подписке на ежегодный государственный заём в размере от половины до целого месячного оклада в год. А тут столько молодых орденосцев, освобождённых от холостяцкого или малосемейного налога!

Но с другой стороны, для меня отмена орденских льгот полностью вписывается в логику сталинского отношения к фронтовикам.

Вот передо мной – «Правда» от 9 мая 1945-го года:

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об объявлении 9 мая Праздником Победы.

В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецкофашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 9 мая считать нерабочим днем.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. Горкин

Москва, Кремль 8 мая 1945 г.

А в сентябре – новый Указ, установивший ещё один праздник: 3 сентября – день победы над Японией, тоже объявленный нерабочим днём.

Но уже в следующем году день победы над Японией стал простой памятной датой: 8 мая 1946-го года «Правда» публикует Указ, где Президиум Верховного Совета, разумеется, по многочисленным просьбам трудящихся, отменяет установленный в этот день выходной.

23 декабря 1947-го года Сталин сделал формальным и праздник Победы. Нерабочий день перенесён на 1 января (можете себе представить, что до той поры вы обязаны были после новогодней ночи идти на работу!). А 9 мая стал обычным рабочим днём, как 3 сентября, как 18 марта – день Парижской Коммуны, как 14 июля – день взятия Бастилии.

До сих пор многие удивляются: для чего нужно было Сталину отменять всенародный праздник, связанный для многих с его именем, с любовью к нему, с преклонением перед ним?

А удивляться, по-моему, нечему: первый же парад победы показал, что это тот день Сталин чтить не будет, что для вождя он станет всего лишь неприятным напоминанием.

Почему он, верховный главнокомандующий, не захотел принимать парад? Из скромности? Но уж в чём-чём, а в скромности Сталина не заподозришь: недаром уже после войны, по горячим её следам, он не просто наградил себя звездой героя Советского Союза и вторым орденом «Победы» – такие вещи он позволял иметь и другим военачальникам. Но звание генералиссимуса, которое он ввёл в армии, Сталин присвоил только себе, разом вознёсшемуся над другими, кто должны были теперь особенно остро прочувствовать, сколь недостижима для них такая головокружительная вершина! Так что и без всяких парадов он вколачивал в мозги народу, кто был творцом всех побед Красной армии в только что закончившейся войне.

Почему Сталин приказал принять парад маршалу Жукову? Чтобы добавить славы и без того уже прославленному маршалу? Если сам Жуков поверил в эту немыслимую версию, то уже через год ему пришлось в ней горько разочароваться. Его ближайших соратников арестовали, а самого маршала отправили в Одессу командовать округом.

Среди разных предположений пишущих о параде встречается и такое: потому, дескать, был выбран Жуков, что тот выезжал на белом коне, а Сталин то ли не умел гарцевать на лошади, то ли был стар, чтобы на неё сесть. Но эта версия представляется неправдоподобной. Ну, не сел бы на коня, а принял парад, как Черчилль или передвигавшийся в инвалидной коляске Рузвельт, в автомобиле! А что до старости, то ничего, кроме раздражения, эта тема в Сталине вызывать не могла. Вернувшийся после долгой эмиграции в Россию Вертинский написал о нём песню, которая заканчивалась такими строчками:

Как высоко вознес он Державу,
Мощь советских народов-друзей.
И какую великую славу
Создал он для Отчизны своей.

Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же мудры и просты слова.
Над разорванной картой России
Поседела его голова.

Прослушав её, Сталин сказал, что автор, очевидно, честный человек, но песню исполнять не надо. В частности, как поняли его многие, из-за этой седой головы, то есть из-за непреднамеренного утверждения, что и сталинский организм подчиняется законам естественной жизни.

Правильно, я думаю, поняли. Но в этой песенке есть строчки, которые объясняют, почему подобных парадов Сталин больше не проводил, а потом и вообще ликвидировал этот праздник – день Победы:

И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?

Он взрастил их. Над их воспитаньем
Долго думал он ночи и дни.

Кажется, здесь Вертинский попал в самую точку. Нужно было упорно думать над воспитаньем бойцов и их командиров – миллионов подданных, оказавшихся за священными рубежами своего отечества, как называли границу, за которую, если б не война, никто из них никогда не проскочил бы. В своё время резко излечился от либерализма Александр I, когда его армия, победившая Наполеона, прошла по Европе и увидела, как живут там люди. Сталин либералом не был и не доверял не только тем, кто побывал за границей, но и тем, кто имел там родственников. А что было делать с тьмой фронтовиков, побывавших в Европе?

Они победили Гитлера? Честь им и хвала! Но лучше бы им из заграничного похода было не возвращаться. Кто мог дать гарантию, что они не сравнивали тамошнюю жизнь с тутошней? И что по приезде домой они не станут восторгаться тем, что увидели, не разнесут этой заразы по стране?

В этом, мне кажется, исток сталинской нелюбви к фронтовикам, ко дню их Победы. А не в том, что, как пишет В. Суворов (Резун), диктатору пришлось довольствоваться только кусочком из того, что он мечтал захватить, – Восточной Европой. Умирать Сталин не собирался. С мировым господством можно было и подождать. А Сталин был терпелив: ждать он умел. Исподволь начал готовиться к Третьей мировой: подкапливал ядерное и другое оружие, заканчивал разработку водородной бомбы, пустил пробный шар в Северной Корее: смогут ли бывшие союзники противостоять нам и китайцам? А затыкать чужие рты ему было не в новинку. Эта практика была хорошо освоена задолго до войны, когда поначалу уничтожали очевидцев и участников событий, знавших, какое истинное место занимал Сталин в ленинской партийной иерархии, а потом и тех, кому они могли об этом рассказать.

Конечно, с теми, кто оказался под немцами в первые годы войны и тоже кое-что повидал, было намного проще. Этим можно было намекнуть на очень возможное их пособничество врагу: дескать, проверим, а пока что вводим во все анкеты, которые ты обязан заполнять – для получения документов или при устройстве на работу, – вопрос: «Находились ли вы на территории, временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками?» Отвечай и трепещи! Но от вернувшихся с фронта – он чувствовал это – исходило ожидание: хотелось жизни не хуже той, что видели, в награду за победу. Вот это упование следовало погасить в зародыше, пока оно не разгорелось в опаснейший костёр надежд. Великий мастер превращать белое в чёрное, прожжённый интриган с этой задачей справился. Он приказал агитпропу сместить акценты в ставшей для всех бесспорной максиме: победили под мудрым руководством великого Сталина. Обновлённая, она по-новому высветила роль фронтовиков, пусть даже и самых отважных: если бы не Сталин, мы бы не победили!

Поэтому продолжать дальше проводить парады Победы – по такой логике значило демонстрировать одиноко марширующего Сталина. Этим как раз и занимались: до самой сталинской смерти газеты 9 мая выходили с большими портретами Сталина на первой странице.

Олицетворив собой победу, Сталин попросту забрал её себе, сделал фактом своей личной жизни, в которой не нашлось места для сочувствия калекам, собранным по городам и срезённым доживать на Валааме (я ошибся в «Комментарии», назвав Соловки местом их бессрочной ссылки), не нашлось места для благодарности тем, кто в яви выковал Победу, и к тем из них, кого отметили орденами и у кого он отнял льготы.

Отец фронтовиком не был. Из-за сильно пониженного слуха его в армию не призвали. Он был награждён как труженик тыла. Эвакуировался в Свердловск с заводом имени Владимира Ильича, который там выпускал танки. Потом вернулся в Москву налаживать на вновь заработавшем его заводе (свердловский стал считаться заводским филиалом) производство оружия

для армии. Но льготы были отменены для всех орденосцев. Перестав получать десятку в месяц, отец, конечно, огорчился, но Сталина не разлюбил.

Он не разлюбил Сталина и когда нам, наконец, сообщили, что его отец, арестованный в смоленской деревне в 1937-м году, умер в тюрьме от инфаркта, а не приговорён к 10 годам без права переписки. И когда выяснилось, что нам и тут соврали: деда арестовали 16 октября, а уже 20 ноября смоленская тройка осудила его за участие в террористической организации (статья 58-8) и как английского шпиона (статья 58–10). Меньше чем через три недели – 9 декабря – деда расстреляли.

(Подумайте, какая террористическая организация могла находиться в сельской российской глубинке, вдалеке от железной и автомобильной дорог, и какой английский шпион мог получиться из моего деда, если он и по-русски-то говорил не слишком грамотно! Но никого правдоподобность обвинений тогда не интересовала: во все советские регионы были спущены разнарядки: арестовать столько-то человек, расстрелять столько-то. И чекисты действовали, стараясь не только выполнить план, но и существенно его перевыполнить!)

Последняя школьная олимпиада, на которой я присутствовал в 2004-м году как главный редактор газеты для учителей «Литература», проходила в Смоленске. Предложили приватным образом съездить за город, посмотреть Катыньское кладбище – захоронение расстрелянных чекистами в 1940-м году польских офицеров. Оно оказалось очень ухоженным – могилы, покрытые каменным верхом. Неподалёку общая могила, над которой стоит памятник советскому воину: некрополь погибших на последней войне, а дальше ещё одна братская могила, в которой, как сообщает небольшая табличка, лежат жертвы репрессий смоленского отделения ОГПУ-НКВД. Вот, стало быть, где закопали моего деда! Впрочем, лежит ли он там? Бог весть!

Двоюродная моя сестра Мара (домашнее имя Маргариты) очень удивилась, узнав, что дедушку расстреляли. Она была убеждена, что он умер в тюрьме от сердечного приступа. А последние подробности до неё не дошли.

Отец знал всё. Но Сталин оставался его кумиром. Да что Сталин? Даже Берия! Вернувшись из Свердловска, отец захотел соединиться с семьёй – вызвать нас с мамой из пензенской эвакуации. В этом ему отказывали довольно решительно: на дворе стоял 1943-й год. Но кто-то посоветовал отцу написать письмо Берии, который в то время курировал военную промышленность. Каким-то чудом письмо до Берии дошло и вернулось с разрешением приехать нам с мамой в Москву. Мама рассказывала, что мы ехали две недели. Этого я не помню, но отчётливо помню, как меня в московской уже комнате обнимает и целует какой-то незнакомый человек, про которого мама говорит, что это и есть мой папа.

Казалось бы, что может помнить о пензенской эвакуации ребёнок, уехавший туда в год с несколькими месяцами и вернувшийся из неё в три года? Однако дедушкин деревянный домик я помню. Помню и огромные массивные деревянные ворота, за которыми стоял этот домик. У меня годовалого были светлые курчавые волосы (отец долго хранил в своём бумажнике завиток, отрезанный от моей шевелюры), и, по рассказам матери, когда она одевала меня в девичье платье, никто меня не принимал за мальчика. Зачем, правда, она наряжала меня девочкой, не знаю.

Так или иначе, но мать рассказывала, что в этом платье меня выпустили гулять во двор, а через некоторое время в дверь постучали, на пороге стоял военный и спрашивал: «Чья эта девочка?» На руках у него лежал окровавленный я. Порывом ветра распахнуло ворота, которые с силой ударили меня в лицо. Я упал без сознания. На счастье по улице шёл военный.

Не помню я этого удара, но искривлённость носовой перегородки ощущаю до сих пор. И в нашем московском дворе у меня была кличка «Губа»: рассосалась опухоль под верхней губой, только к юности.

Зато хорошо помню дедушкин чёрный репродуктор и то, как меня ставили на стул, когда приходили гости, и я, подражая Левитану, торжественно провозглашал: «Приказ верховного

Главкомандующего». А вот излагал ли я услышанное по радио или произносил только эту фразу, вспомнить уже не могу. Помню только, как все смеялись и мне хлопали.

Я потом ещё раз был в Пензе. Когда Алику, моему брату, исполнился год, мама с ним и со мной поехала на всё лето к бабушке. Оказалось, что в соседнем доме, точно таком же, как бабушкин, жила родня маминой сестры Сони. Соня вышла замуж за старшего из пяти братьев в этой семье и уехала с ним в Куйбышев, нынче получивший старое своё название – Самара, где он работал довольно крупным инженером в оборонном институте, часто по делам приезжал в командировку в Москву, постоянно останавливаясь у нас. Никому из нас, живших в крохотной комнате, его приезды радости не доставляли. Особенно страдал я, спавший на узком диване. Его неизменно отдавали гостю.

Мать с отцом спали на полуторной кровати, боком можно было протиснуться к круглому столу между ней и кроватью маленького братика, стоявшей у буфета. А мой диван упирался в двухстворчатый гардеробный шкаф. Больше пространства на одиннадцати с половиной метрах не имелось.

Но ради приезда гостя исхитрились до упора отодвинуть стол, так что войти и выйти из комнаты становилось проблемой. И на крошечном этом месте составляли стулья, стелили на них матрац. На нём я и спал.

В принципе, у нас останавливался не один только Сонин муж. Провинциальные родственники тоже, приезжая в командировку, не желали жить в ведомственной гостинице. Но именно Сонин муж приносил наибольшее неудобство. Над диваном висел репродуктор. И муж Сони в шесть утра, когда начинало работать радио, включал его на полную мощность, не обращая внимания на то, что все в комнате, кроме него, ещё спали. Проснувшись, отец яростно смыкал веки.

Так вот. Эта живущая рядом с бабушкой Сониная родня не ладила с соседями-родственниками. Родни было мать и пять её сыновей. Старший, как я сказал, уехал с Соней в Куйбышев. Второй брат – полковник инженерно-технической службы – жил с семьёй в Ленинграде. А трое остальных оставались с матерью в Пензе.

Нет, братья не враждовали с бабушкой и тётей, как приучили меня называть вторую бабушкину жену. С ними враждовала их мать. А меня привечала очень радушно. Я подружился с Мишкой – тринадцатилетним её сыном – и охотно бывал в их доме. Особенно привлекал меня патефон, которого не было ни у бабушки Якова, ни у нас в Москве. Я слушал Утёсова, Шульженко, Александровича, Обухову, Русланову, Лемешева, Козловского, популярные советские песни и романсы, к которым испытывал особую нежность.

А мать Мишки расспрашивала меня о бабушке и тёте, говорила, что их нельзя волновать, что я должен вести себя с ними хорошо, спрашивала, люблю ли я их? От прямого ответа я уклонялся: бабушку любил, тётя мне нравилась не очень, но посвящать в это посторонним не хотелось.

Однажды Мишкина мать сказала мне, что я должен выучиться благодарить бабушку и тётю по-еврейски. Пообедал, встал изза стола, прижал руку к сердцу, поклонился и произнёс... Она заставила выучить меня, как звучит еврейская благодарность.

Я так и сделал. Поклонился, но когда сказал: «Кус мир тохес!», тётя возмущённо закричала, а бабушка вытаращил глаза: «Кто тебя этому научил?»

– Старая хулиганка! – гневно сказал бабушка о соседке. Но ни он, ни отругавшая меня мать не объяснили, что же страшного я произнёс. И только рыдающий от смеха Мишка сказал мне, что, прижав руку к сердцу и церемонно поклонившись, я предложил всем, кто был за столом, поцеловать меня в зад (точности ради скажу, что смягчаю сейчас неприличное слово).

Кстати, в то лето, оставив маленького Алика на попечение бабушки и тёти, мы с мамой съездили дней на десять в Куйбышев, где Соня с мужем нас встретили очень радушно. Они жили с четырёхлетней дочкой тоже в не слишком большой комнате. И у них пятерым было

тесновато. Но, находясь у них в гостях, я убедился, что Сонин муж не нахален, как мне казалось в Москве, а беспечно, жизнерадостно коммуникабелен.

Он обожал мороженое и, гуляя с нами – со мной и с дочкой Женей, неизменно останавливался возле мороженицы, а, когда каждый съедал свою порцию, покупал по новой.

Он любил кино и водил меня в кинотеатры иногда по несколько раз в день. Фильмы в то время шли почти исключительно биографические. Именно в Куйбышеве я посмотрел фильм о Белинском, из которого на всю жизнь запомнилась финальная фраза: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым доведётся увидеть Россию в 1940-м году».

Произносил ли Белинский эту фразу на самом деле? Мог, конечно. Он написал и произнёс немало несуразицы.

И всё же, отталкиваясь от маминых родственников, которые останавливались в нашей крохотной комнатухе, я очень рано выработал принцип, которого держусь всю жизнь: жить только в гостиницах, а чтобы родственники не обижались, не ставить их в известность о своём приезде.

Правда, однажды я пожалел, что не спросил у матери Сониного адреса. В 1971-м году был я в Куйбышеве в командировке, и захотелось мне посмотреть на тот дом, где мы с мамой гостили через четыре года после войны. Увы, как ни напрягал я свою визуальную память, я его не нашёл. Я кружил по центру, потому что, как выяснилось, почти все улицы в городе сбегают к Волге.

Но на такой улице я точно не жил. А на какой? Не знаю. Теперь и спросить некого.

Поэтому, приехав в 2001-м году на олимпиаду по литературе в Пензу, я первым делом бросился искать Либерсоновскую улицу: я запомнил название именно таким. Может, она и прежде называлась, как сейчас, улицей Либерсона в честь какого-то революционера, установившего в Пензе советскую власть, но главное, что она сохранилась! Оказалось, что я очень вовремя нашёл эту улицу, во многом теперь застроенную элитными домами. Два покосившихся деревянных домика – дедушкин и его врагини, массивные ворота, чуть было когда-то не убившие меня, уже подготовлены к сносу. Я успел их сфотографировать. И медленно поднялся от них наверх, на Московскую улицу, вспоминая, как мы с Мишкой и ещё с одним приятелем, у которого мама работала контролёром в кинотеатре, шли в этот кинотеатр, чтобы бесплатно посмотреть новую картину. Даже не шли, а избегали. Сейчас я попробовал ускорить шаг и почувствовал одышку...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.